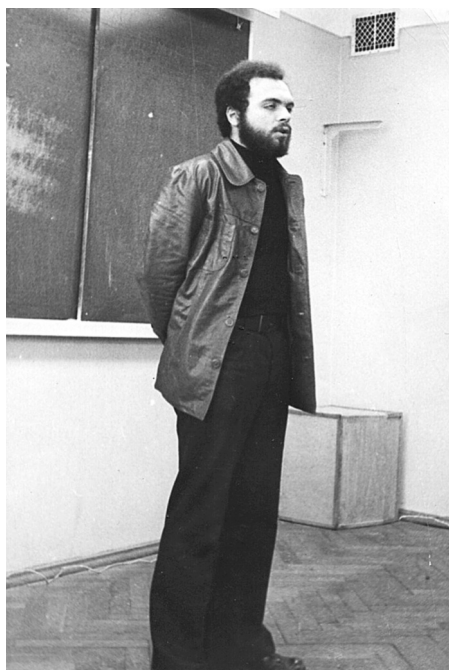


In Memoriam

Сергей Леонидович Козлов

(25.06.1958, МОСКВА — 28.02.2024, МОСКВА)



Елена Костюкович

(Милан)

Фантомная боль

Чем жил Сергей Козлов свою взрослую жизнь, я не знаю. Когда он умер, у меня высветилось в памяти положение вещей в годы, когда он формировался, с 1974-го по 1987-й. Многое, конечно, так и осталось *in fieri*. К тем залогам грядущего и относятся мои мысли. Это был период выстраивания профессионализма. Я могу обнять период с Сережиных шестнадцати до Сережиных двадцати девяти лет. Именно о нем тогдашнем я думаю. О том, чего характерологически и физиологически давно не существует. Значит, у меня, что называется, фантомная боль.

Стартовой точкой и главной поддержкой нашего душевного строительства были родительские семьи, где нам подсовывали под нос книги, необходимые в каждую фазу роста. Его семья состояла из матери Инны Артуровны Тертерян (1933—1986), самой яркой из советских латиноамериканистов и испанистов, принимавшей дома Жоржи Амаду и Варгаса Льосу. Инна Артуровна и сама происходила из интеллигентской литературной семьи, хотя и с отягчающими обстоятельствами. Дело в том, что она была дочерью старого конъюнктурщика Артура Сергеевича (Арташеса Саркисовича) Тертеряна, руководителя «Литературной газеты». Руководил он в том смысле, что тридцать лет пробыл заместителем формального главы — Чаковского — и как никто умел отстаивать перед цензорами фронду, иногда проявлявшуюся на страницах его издания. И он же, увы, был автором одиозных статей против Пастернака. «Тертерян произносил партийные штампы с такой интонацией, что сразу было ясно: они взяты в мысленные кавычки. Он был умен, хорошо образован и прочно закрыт от стороннего наблюдателя броней из иронии и скепсиса», — написала о нем Алла Латынина¹. Об этом блестящем цинике немало сказано у мемуаристов, к примеру — у В. Радзишевского². Козлову вроде бы было где наблюдать механизм сдачи и гибели интеллигента, когда ирония используется в качестве подлового *excusatio*. Но нет: Инна Артуровна практически не встречалась со своим хотя и ярким, но конъюнктурным родителем. Она была принципиальным человеком. Сергей, соответственно, тоже с ним не виделся, если не считать двух-трех раз на чьих-то похоронах.

Таким образом в доме его матери и отчима сохранялась чистота воздуха, свободная внесоветская атмосфера, далекая от конформизма и подончества, и мы с ним именно в этой атмосфере без всяких комплексов читали густо распаханный по четырем нашим письменным столам самиздат.

Еще в семье часто бывал любивший поест и поораторствовать дядя Сергей Александрович Арутюнов (1932—2023), академик, президент Ассоциации

1 Латынина А. Как дышалось в «Литгазете» // Новый мир. 2008. № 4. С. 166.

2 Радзишевский В. Байки старой «Литатурки» // Знамя. 2004. № 6. С. 138—170.

этнографов России. Ему были открыты такие миры, куда мы не допархивали в самых романтических фантазиях. Восток, Крайний Север, полюса. Экстремальные условия, угроза жизни, смелость. Арутюнов при рассказывании рисовал пальцами в воздухе гарпунные наконечники чукч, расписывал, какими способами умерщвляли друг друга древние люди, чьи скелеты лежат в эвенкских могильниках, и это была только малая часть его компетенции, а вообще он был и автором новаторских теорий развития японской культуры и знал все, что только было можно знать, о живых и о вымерших народностях Кавказа.

Арутюнов умер за два месяца до смерти Сергея. Хорошо, что не в обратном порядке. В наших глазах он олицетворял образец элегантного, немного сибаритского и в то же время безупречного академического существования. Отчего-то мы были уверены, что в политическую и идейную тенденциозность Арутюнова никто никогда не тянул. Но ныне, понимая нюансы национальной политики в СССР, я уверена, что судьба его хотя и хранила, но не раз и не два пыталась ломать. Не случайно Сергей Александрович определенные темы не затрагивал и никогда не поминал свою (и Тертерянов) семью, погибшую в резне в Карабахе в 1918 году.

Мы думали, и Арутюнов, и Инна Артуровна, и муж Инны Артуровны — это вельможи от науки, снискавшие свой почет, но исключительно за заслуги. Примерно по этому пути предстояло продвигаться и нам. Иерархия и структура Академии наук были понятны. Работа должна была нравиться сама по себе и быть причиной себя. О вознаграждениях думать не следовало, а говорить тем более. Работайте, и все придет.

Придет или не придет, а не придет — и не надо. Подразумевалось, что бывают ситуации, в которых требуется не о плюсах думать, а просто отталкивать нечто неприемлемое. Мы видели это на примере «дяди Люки» — второго мужа Инны Артуровны Ильи Моисеевича Фрадкина (1914—1993). Это была натура, можно сказать, легендарная. Он столь же много значил для тогдашней германистики, сколь Инна Артуровна — для латиноамериканистики. Знаток поэзии Серебряного века, Фрадкин сам был непосредственным участником литературной полемики в тридцатые годы, бился с рапповцами, но был и против «одемянивания» и, что доставляло нам особенное удовольствие, оставался искренним и последовательным любителем и личным другом некоторых разогнанных опоязовцев.

Все годы войны он провел на фронте и даже непосредственно на первой линии, потому что Илья Моисеевич со своими познаниями в Гейне и в Гёте был зачислен в бригаду «пропаганды среди войск противника», прикомандирован к Национальному комитету «Свободная Германия» и послан на агитацию посредством латунного раструба перед немецкими войсками. Тогда-то вражеский снайпер из окопа и прицелился в рупор, а попутно отстрелил дяде Люке часть его крупноформатного носа. Вылечившись, Фрадкин работал в советской культурной администрации в Вене и в Берлине, ставши наблюдателем и участником такого количества историй и происшествий, что ему хватило потом на множество лет рассказывать и нам, и тем нашим друзьям, кто бывал у нас дома.

Он любил вспоминать свое знакомство и несколько откровенных разговоров с Брехтом, о которых неслобовать, если бы узнало начальство, а начальством был свирепый Александр Львович Дымшиц. Еще был сюжет об ужине с Марлен Дитрих, о чем Илья Моисеевич и рассказать-то не мог, заикался

от восхищения. А Вильгельма Фуртвенглера Фрадкин нашел в «черных списках» пособников нацизма, составленных союзниками, и убедил новые власти выпустить дирижера из лагеря, после чего приютил прямо у себя на съемной квартире, предоставил Фуртвенглеру горячую воду, подарил полотенце и свои кальсоны и угостил сливочным маслом, в которое тот запустил тонкий музыкальный палец и с изумлением спросил: «Echt Butter?»

Было, конечно, интересно слушать все это и чувствовать, до чего европейская история нашего века становится близкой и до чего она сложна и не похожа на те суммарные сведения, которыми, как считалось в университете, мы должны были довольствоваться. Илья Моисеевич своими рассказами и примером убеждал нас, насколько все сложно, суперсложно и даже еще сложнее. Ведь именно сталинист и начетчик Дымшиц любил и продвигал запрещенную, не издаваемую в СССР поэзию. И не раз такое случалось с советскими академическими мракобесами. Много странного нашлось бы, если бы разрубить их черепа и заглянуть внутрь. Борец с космополитизмом и антисоветчиками Роман Михайлович Самарин взял на работу в ИМЛИ Инну Артуровну, по ее веселому свидетельству, только потому что она, оказавшись рядом с ним как-то раз в трамвае, процитировала запрещенного Гумилева.

Фрадкину привелось даже консультировать Дымшица в процессе борьбы за выход синего Мандельштама в «Библиотеке поэта». Это было в эпоху зачаточной текстологии Мандельштама, Фрадкин многое тогда записывал, что помнил, и его свидетельства иногда пригождались. Но внезапно вдруг тут Фрадкин подписал коллективное письмо против разгона «Нового мира», и тут же Дымшиц бросился его травить. Двенадцатилетний Сережа сочинил по этому случаю пародийный «J'accuse» на рифмы Маяковского.

«Подписантство» Ильи Моисеевича сделало его невыездным, но и морально недостижимым. У него были «опасные» друзья, замечательные — такие, как Генрих Белль и как Лев Копелев, встречи с которым я запомнила (Копелев не сразу после начала преследований уехал в Германию, а лишь в 1980 году). Фрадкин мог переписываться с заграничными корреспондентами лишь тайно. Видеться не мог вообще: его не выпускали, а их бы не пустили. Что до той конспирации, я точно знаю, что «подпольную» переписку Фрадкина с корреспондентами, находившимися и в ГДР и в ФРГ, преспокойно читали «кому надо», и даже копировали и архивировали. Я убедилась в этом, приехав в Берлин в 2013 году в музей Штази и запросив сведения об И.М. Фрадкине. Там даже заглядывать в каталог не стали — нашли мне папки этого «фигуранта» по памяти, настолько длинная полка архива была для него в свое время отведена.

В раннем Сережином мире занимал особое место еще и его отец, с которым после развода «предков» Сергей до самой взрослости не встречался, однако за которым следил на расстоянии. Леонид Константинович Козлов (1933—2006) был киноведом, исследователем Эйзенштейна и Висконти. Комические рисунки Сергея, рождавшиеся почти ежедневно, были часто в эйзенштейновском духе. Мне это стало ясно, когда в начале девяностых я получила в руки объемный корпус рисунков Эйзенштейна для одного итальянского проекта. Тут я увидела, откуда брались в графических шутках Сергея и синтетичность, и гротескность, и обыгрывание цитатных мотивов. Но ведь рисунки Эйзенштейна до девяностых не были опубликованы, а Сережа их не видел? Он мог их и не видеть, но я уверена, что именно в духе Эйзенштейна рисовал ему комиксы в раннем детстве его отец — человек, имевший с 1953 года доступ в дом Перы Моисеевны Ата-

шевой на Смоленской и помогавший (совместно с Наумом Клейманом) ей систематизировать эйзенштейновские и мейерхольдовские документы. Козлов и назван-то в честь Сергея Эйзенштейна. Был бы девочкой — назвали бы Пера.

Леонид Козлов принес, как приданое, в 1954 году в дом Сережиной матери вместе с обширной эрудицией и с художественной чувствительностью еще и неотразимую иронию. Большею частью самоиронию. От него остался бурлескный стиль. Стиль привился в доме, как запах.

Сережа рисовал похоже на отца и писал от руки похоже, у них был одинаковый почерк — образец изысканной каллиграфии. Унаследованная Сергеем от отца склонность превращать фрагменты быта в эпиграммы и виньетки оказалась чистым золотом в глазах нашей студенческой компании. Всех забавляла и Сережина способность увязывать современные факты с детальными историческими параллелями: это были плоды бесед с отчимом. От матери Сергей перенимал хлесткость, ясность и нежелание никому и никогда делать поблажки в интеллектуальном плане. Себе — всего менее.

Да, стиль Сережиной семьи интересно совпадал со стилями других семей. В нашей большой компании — межкурсовой, вертикальной, в которую вмещалось целое поколение и где были и коллеги старше нас на десять и более лет, и те, которые были младше на два года, — во всей компании витали фразы-цитаты и истории-анекдоты, в свое время вынесенные из дома Зориных, из дома Мильчиных, из дома Осповатов, из дома Строевой-Наркирьера, из дома Михайлова-Николаевой, из мастерской Ильи Кабакова, отца Гали. Рассказами об этой нашей игровой и цитатной кружковой культуре славится Вера Аркадьевна Мильчина. Она об этом опубликовала книгу.

Всеохватная веселость бытовала у нас все больше по той причине, что мы были молоды и с творческим задором. Но имело значение еще и специфическое время, которое нами проживалось. Это время было в немалой степени смехотворно, хотя иногда и страшно. Период советского полураспада неявно и даже явно провоцировал нас на зубоскальство. Нам, связанным с культурой Запада, уверенным в преимуществах свободного мира, казалось, что путь ухода от гнусного окружающего лежит через осмеяние этого окружающего. Над любым страхом преобладало желание дразнить тупиц нашим сарказмом, а держиморд — нашим дендизмом.

Коли уж они сидели у нас на шее и давили на нервы, оставалось хоть со вкусом поразвлечься, что ли. Посоревноваться, кто лучше откомментирует их партийные ритуалы. Кто разберет порядок ондатровых шапок на верхней ступени Мавзолея. Мы до того поднаторели в устройстве советской власти, что впоследствии оказались способны специализироваться даже и на советологии, когда жизнь того требовала.

В этом курьезном кремлеведении Козлову не было равных. Ему удавалось отличить на мутной газетной фотографии Петра Ниловича Демичева от Михаила Сергеевича Соломенцева и от Тихона Яковлевича Киселева и спрогнозировать по их расстановке, чего следует ожидать от очередного пленума политбюро. Сказывалась дяди-Люкина школа. Да и сам Сергей обладал природной аналитической интуицией.

Это был такой спорт, и Козлов был в нем чемпионом. Натуралистический интерес к жизни политбюро тогда не перечил представлениям о вкусах «порядочного человека». Качество «порядочности» в принципе не обсуждалось, оно воспринималось как данность. Был неписанный канон «порядочного» поведе-

ния, куда входили бессребренничество, антибуржуизм, understatement. Все и всегда интуитивно понимали, с кем водиться, а к кому и на километр не подходить, а также — кого можно и кого, наоборот, нельзя приводить в компанию.

Тогда «порядочность» подразумевалась как воздух. Однако по мере жизни набирал силу иной уклад, и в нем «порядочность» становилась не безусловна. По видимости, стало не только можно, но даже и нужно высказываться о «порядочности». Это я вижу по печатным трудам Козлова: понятие порядочности он не раз и не два подробно эксплицировал.

Конечно, как и следовало ждать, он разбирал эту категорию в историческом и в культуроведческом приложении, а не в биографическом. В 2011-м он написал статью «Историческая наука и “порядочные люди”» — материалы для комментария к «Апологии истории». Его интересовала генеалогия и семантика известного французского понятия *honnête homme*. В его книге «Имплантиция» фигурирует сходный текст с измененным заглавием «Историческая наука и “приличные люди”». («Порядочные/приличные»: поиск точности смолоду обрекал Козлова на использование «двойчаток». Мы, бывало, спорили, которую предпочесть, и часто решали, что «нравятся очень обоим». По вине таких двойчаток он, как правило, застревал и запаздывал в работе над переводами.)

Будучи выше рассуждений о порядочности, мы де-факто жили под дамокловым мечом. Опасались замараться, совершить по недоумию или невнимательности ложный шаг. Заиграться даже и собственной иронией.

Мы были двадцатилетними савонаролами, которые изображали из себя пульчинелл. Но по недостатку выдержки порой непринужденное ехидство перерастало в колючую сатиру, а потом и в жгущую инвективу. Извлеку из памяти еще один козловский стихок. Это сонет, написанный как раз под ворчание в духе «о чем ты вообще думала?» и «чего, господи боже, не хватало».

Весь шум возник из-за Антонио Грамши. Я действительно взялась переводить для «Памятников эстетической мысли» «Тюремные тетради». Но мне не казалось, что этот шаг — компромиссный или как-либо компрометирующий. Даже более того, я и сейчас думаю, что Нино Грамши, да, безусловно, марксист, но и он по праву должен стоять в списке чтения для тех, кто изучает историю итальянской мысли.

Однако Сережа в своей чистюльности был ригористичней меня. Согласно его суждению, взяться за это было равнозначно соглашательству с властью. В какой-то степени он был даже прав: социалистическим идеологам Грамши был вправду нужен. Они им манипулировали. Не стоило мне, вероятно, глядеть на Грамши исключительно глазами страноведа, итальяниста. Находились-то мы все, как ни крути, в Москве.

Вот сонет, концовка которого вполне дает понять, почему я в итоге приняла решение публиковать этот перевод Грамши под псевдонимом:

Расхристанный и злой, с утра сию не жрамши.
На улицу нельзя — вчера порвал штаны,
Зашить их не могу, а старые тесны.
Жене ж — не до меня. Все переводит Грамши.

Надумала купить пальто из мягкой замши.
Ну на фиг ей пальто? Объялась белены?
Да нам не дотянуть до эдакой цены!
Нет, хочет покупать, и ночь сидит не спамши.

Ей, дуре, невдомек, что свой высокий дар
На низкого глупца за жалкий гонорар
Она расходует, и что в итоге с нами

Общаться прекратят отныне и вовек
И червь, и дерево, и раб, и человек.
Одумайся, жена! Займи себя штанами!

Тут, кстати, как у Гоголя шинель, играет главную роль некий компонент одежды. В сонете их даже два. Мое предполагаемое пальто (да не было у меня никакого пальто из замши, и не думала я о таком наряде, все он выдумал для рифмы!) и козловские штаны...

Стихи, конечно, комические, однако и впрямь каждый предмет гардероба в ту эру имел, так сказать, символическую ценность, представляя собой выразительнейший жест невербальной коммуникации.

Кто помнит, тот помнит. Моя память начинает прямо-таки метаться от тупоносых и из-за этого, увы, на сантиметр короче моей стопы «Саламандр» к кубинским рубашкам «guayabera», которые привозила из поездок Инна Артуровна. А также я вижу, как на картине, каждую трещинку на фасаде старого, но нежно сохраняемого одноразового пакета из «Корте инглес». И даже могу добавить (и тем самым высветить важнейшую черту портрета героя) неслышанный факт: у Козлова единственного из нашей компании была привезенная кому-то из взрослых диссидентов, но не налезшая на того французская дубленка. Как у Высоцкого.

Да, прошу поверить, что на Козлова могла быть тогда надета тесноватая дубленка, которая на кого-то другого не налезала. Козлов не всегда имел такие габариты, которые помнятся большинству его знакомых. В описываемые годы Козлов был скорее строен и с курчавой шевелюрой. Вылитый, как считалось, Че Гевара.

В 1975 году он участвовал в создании одного безусловного шедевра вместе с несколькими друзьями. (Четырехкомпонентная, выделявавшаяся под битлов группа объединилась в год после советских школьных экзаменов; потому они избрали себе имя «Гуманизм Левинсона» — *sapienti sat.*) Этим шедевром была рок-опера «Павлик Морозов — суперзвезда»³. В фабуле оперы центром интриги выступает опять же некий предмет одежды. Оказывается, Павлика-Иисуса Иуда предал, чтобы отобрать у него кожаную куртку.

И еще одно мешает мне жить:
Очень хочется кожанку носить...

У Козлова она была, кожаная куртка. Темно-красная, с лакированной поверхностью. Таких теперь не делают и не носят. У него было еще и серое кожаное пальто, и темно-синее вельветовое, длиною до полу.

Щеголеватость тогда была главной аттестацией человека. Одежда передавала и социальную принадлежность носителя, и его политические взгляды. Мне возразят: то же самое мы видим и сейчас на университетских кампусах.

3 Об этой рок-опере см. далее в заметках А. Строева, О. Майоровой и В. Мильчиной. — *Примеч. сост.*

То, да не то, — контрвозражу я. Есть разница. Тогда эти символические вещи никто не мог ни выбрать, ни купить. Войти во владение ими ты мог только по случаю, как бенефициар офигительного чуда.

И вот тут-то последуют несколько слов о бенефициаре и бенефициарстве. Это будет еще один доселе не публиковавшийся, сохраненный лишь у меня в памяти текст, который отражает ключевой момент самоощущения Сергея в те годы.

Он считал себя баловнем судьбы! В 1977 году Козлов был уверен, что он счастливейший на свете человек, не случайно же он носит кожаное пальто и диссидентскую дубленку и не случайно способен запомнить толстую книгу за одну ночь; не случайно, а моцартиански создает он свои экспромты. И именно у него знаменитая и притом невероятно молодая мать, чью черную гриву издалека было видно в первом ряду кресел в ЦДЛ, когда она, одна из всего зала, возразила на провокацию со стороны ксено- и юдофобов, тех, кто стал позже идеологами общества «Память», не испугавшись антисемитской шоблы. Тогда Сережа проорал с нашего с ним последнего ряда: «Это моя мама!» Да, он верил, что он счастливчик, уникальный везун, родившийся не просто в рубашке, а в джинсовом и, скорее всего, фирменном «батнике», в котором и бегал трехлетним бутузом под переделкинскими соснами. Под теми самыми соснами, под которыми Сережа теперь похоронен.

Принцип нашей судьбы — нет удач без утрат.
Рок разрушит все планы, какие мы строим.
Ты страдал дифтеритом, а стал депутат.
Был спортсменом — и вдруг заболел геморроем.

Перемены судьбы неизбежны. И я
Потому так встревожен и так озадачен,
Что с начального дня моего бытия
Был во всем и всегда неизменно удачен.

Я на редкость удачливый был эмбрион.
Не пришлось прибегать ни к щипцам, ни к ретортам.
Я не сбился с пути, не был мертвым рожден,
Не был также сражен беспощадным абортom.

И пошло, и пошло. Я удачлив, как бог,
До сих пор я живу в этом тягостном стиле.
Не ломал себе рук, не ломал себе ног,
Мне аппендикс — и тот еще не удалили.

Я не то что все вы, я в долгу у судьбы
Мне придется платить по жестокому счету.
Мне уделом — огонь пулеметной пальбы,
Гильотина, расстрел, колесо иль гаррота.

И живу я в тоске, здоровяк-весельчак;
Ах, зачем вы меня так жестоко надули?
Лучше б я малышом провалился в стульчак,
Чем теперь погибать в электрическом стуле....

Если ж все же успею детей завести,
Прежде чем подойду к роковому порогу,
Поспешу сосунка от несчастий спасти
И, младенца обняв, оторву ему ногу.

Это было до тяжелой болезни и безвременной смерти матери. До его собственных душевных кризисов, толкавших его на грань отчаяния. До развала социальных приоритетов, на которые он настраивался в молодости. До периодических припадков угрюмства и непонятости. До комплекса недопринятости обществом, по-новому устроенным. В общем, до пронизавшей его дальнейшее бытие частичной недореализованности.

А в те времена стишок о везунчике имел успех. Наша среда такое любила. Сергей любил и ценил нашу среду. Об этой среде, стараясь описать ее как стонный предмет, мы много разговаривали, мучаясь из-за того, что в попытках метаописания были все-таки ужасно вторичны. Мы жили под впечатлением образов Пастернака о музыке во льду, обсуждали эссе Лидии Яковлевны Гинзбург опять же о том же. Пастернак дал нам индульгенцию — «тут места нет стыду». Тем не менее мы стыдились, что нам к Пастернаку и Гинзбург нечего добавить.

Среда — имеется в виду «порядочная» профессиональная среда — была, конечно, относительно гомогенной, но в каждой ее части имелась своя специфика, и мы искали, где же будет наше единственно верное место. На первом курсе нас всех загипнотизировал бахтинист Владимир Николаевич Турбин. Он очаровывал юных слушателей и по расписанию, в семинарские часы, и после занятий — на заседаниях так называемого Научного студенческого общества. Мы рисковали слишком довериться его обаянию, и это было бы губительно для развития — Турбин тянул в импрессионизм, в виртуозность во имя виртуозности, — но все же мы чувствовали в Турбине непонятный слом, и это охлаждало наши страсти. Со временем выяснилось, что Турбин в свое время подписался под осуждением Синявского (а в 1991 году публично покался, но это через пятнадцать лет). Мы с Козловым, по счастью, заблаговременно пережили разочарование в Турбине.

Микроисторией, однако, продолжали увлекаться. Тогда как раз вышел в русском переводе «Мимесис» Эриха Ауэрбаха. Пройдя через упоение Ауэрбахом, мы решили, что не стоит зависеть от милостей советских издателей и гораздо лучше привыкать читать по-немецки: тогда хотя бы не будем запаздывать по сравнению с мировой наукой на тридцать лет.

И начались мучения с приватной репетиторшей по немецкому; но оно того стоило.

Наиважнейшим из наших чтений были, конечно, работы тартуской школы (в которую потом многие из нашей компании сами влились). Ища язык для рефлексирования о среде — среде вообще и о нашей собственной среде в частности, — отрабатывая параллели, желательны не высокопарные, но и не обязательно ернические, мы обращались, среди прочих чтений, к лотмановским работам о декабристах. В описываемые мною годы публикаций Лотмана было мало. Трудно было доставать даже конспекты. Когда Лотман раз приехал в Москву, нам нашлось место перед оратором на полу аудитории, откуда мы видели в основном его усы в проекции, но превосходно запомнили ту его лекцию, на которую живьем попали. Лекция была о нереализованном замысле

Пушкина. На вопросы Лотман отвечал уже почти прямолинейно. Он понимал, о чем мы спрашиваем, и говорил о тирании, о монархии, об истории государственных переворотов в России. В общем, стыдновато, но следует признать, что в наш мир проникало порой и безвкусие — примерять на себя модели поведения декабристов. Лотман этому не препятствовал, даже в каком-то смысле приветствовал.

Козлову уже тогда претила утилитарность в обращении с фактами. Он с его тонким чувством уместности сознавал всю пошлость отождествления себя с прототипами. Козлов вообще являлся недругом натяжек. Это осталось в его лекциях навсегда, что, кстати, не вредило результатам. Студенты говорят, что его лекции выделялись риторической красотой. И это без помпы, и, конечно, без намерения подогнать результаты под заготовки. Тривиализация науки уже и в юности представлялась Сереже грехом без прощения. Равно как и эмфаза в научном тексте.

И родители, и среда, и лучшая научная литература — все направляло его на строгую академичность в работе. В ранних текстах и выступлениях Козлов до того абсолютизировал эту строгость, что доходил почти до пародии. Незабываема его полемика 1976 года с Михаилом Леоновичем Гаспаровым о Бахтине, начатая Козловым с фразы: «Я студент лишь только второго курса, но...» Выступление Козлова началось с рассуждения о том, дозволено ли студенту второго курса вступать в споры с великими, и о том, что такое спор, что такое великость и чем характеризуется именно второй курс в отличие от первого. Прошло пять минут, он оставался на prelimинариях. Поняв, что все пропало, он выкрикнул что-то о Бахтине как «нашем общем отце» и сел. Память об этом провальном эпизоде сопровождала его всю жизнь, хотя с Гаспаровым они потом превосходно общались и на высоких кафедрах, и в кулуарах.

Особо интересным казалось нам всем тогда, если строгий анализ применялся к предметам фривольным, таким как похабные частушки, или к фрикковому (анекдоты о чукчах). Курсовую четвертого курса Козлов писал о святошеской и в то же время таившей в себе неистребимую тягу к пороку католической прозе Жоржа Бернаноса. Дипломная работа Козлова была по глашатаю либертенских нравов Кребийону-сыну. «Письма маркизы М*** графу Р***» (*Lettres de la Marquise de M*** au Comte de R***, 1732*), «Письма герцогини *** герцогу ***» (*Lettres de la Duchesse *** au Duc de ***, 1768*). Сколько шуточных рисунков Козлова в духе сомовской «Книги маркизы» было разбросано по квартире! К сожалению, у меня не сохранилось ни листочка.

Из темы диплома сама собою вышла и тема кандидатской — французское рококо. Оно было излюблено Сережей не только за игривость, но и (преимущественно) за сложность, в том числе символическую, лексическую и, разумеется, историческую, и за драматизм. Скабрезная легкая культура, донельзя ритуализированная, — и уже беременная гражданской войной. Напудренным парикам предстояло слететь с бритых голов у гильотины. Сквозь музыку гавота слышался колокол.

Следя, как Сергей формирует себя для профессии и как тщательно выверяет баланс между филологичностью и занимательностью, я видела, что все первостепеннее для него становится не анализирование материала, а анализирование собственного анализа.

Тогда он уже приблизился к основному предмету своей работы — к истории идей. Уже тогда в нем стал преобладать интерес к исторической эпистемо-

логии. Психологически можно предположить, что он искал опору, неоспоримую плоскость, куда опереть гипотезу. Настоящего исследователя всегда мучат сомнения и в основах, и в выводах. У Сергея это усугублялось еще и неизбывным самоискательством и душещипанием.

Поначалу он адресовался к англоязычной традиции, в которой исторический и теоретический подходы к науке образуют синтез. Однако сама по себе синтетичность метода англоязычных исследователей снижала в его глазах планку строгости при постановке задач. Английский язык придавал формулировкам вес, но срезал у них верхний и нижний диапазоны смыслов и не позволял работать на супердетальных нюансах.

Французские исследователи были для Сергея Козлова родными наставниками. Еще в школьные годы они привили ему вкус к четкому и в то же время высвобождающему фантазию археологическому методу. На первом курсе Сергей читал Мишеля Фуко. Мы вместе рисовали дурашливые комиксы на «Слова и вещи». Тогда для него были важны Гастон Башляр, предоставлявший ему образцы философского анализа поэзии, и Жорж Кангилем, опыт которого существенно расширял в глазах Козлова репертуар тем для будущей исследовательской работы.

Неостановимость поиска, как я вижу по дальнейшим публикациям, сопутствовала ему всю жизнь. Он постоянно что-то менял в своей системе предпочтений. На первый план для него как ученого по очереди выходили основные европейские миры. Не случайно его самый важный труд «Имплантация» посвящен взаимопроникновению французской и немецкой интеллектуальных систем.

К четвертому курсу дорога была им в общем выбрана. Ориентирами Козлова в то время были, во многом благодаря соответствующим выпускам «*Cahiers roux un Temps*», Жорж Дюмезиль и Эрвин Панофский, Пьер Клосовский, Анри Фосийон, Юргис Балтрушайтис, не говоря уж, разумеется, о Вёльфлине. Именно тогда стало совершенно ясно, что главной сферой интересов Козлова становится эволюция идей, причем в то время его занимал главным образом лингвистический аспект вопроса: формирование языковых клише. Козлов стал подходить к первым достойным публикации концепциям на старших курсах университета, когда впервые вскрыл (ахматовский метод в развитии) французскую подкладку тех пушкинских строк, которые принято было считать самобытными, спонтанными.

Тогда ему, как всем нам, была ясна скудость и непродуманность русского лексикона филологической науки. Было ясно, что этот лексикон кому-то предстоит пополнять. Именно нашему поколению оказалась по плечу эта задача; именно мы оказались в этом плане максимально продуктивными, ибо для многих выпускников «ромгерма» и «структурной лингвистики» семидесятых и восьмидесятых так или иначе являлись стандартом как минимум пять европейских языков и латынь.

В этом нет нашей заслуги. Просто нам был уже более-менее открыт доступ к изучению языков. Не доступ к поездкам, разумеется, — о них и не мечтали... Хотя существовали исключения. Мать Козлова Инна Артуровна часто выезжала в Испанию и Южную Америку. Ей удавалось много узнавать, общаться с крупнейшими интеллектуалами. Ее впечатления, а также привозимые ею справочники оказали на нас огромное влияние и были определяющими для формирования в нас относительно конкретного представления о зарубежном (латинском) мире.

Сережа всякий раз буквально загорался азартом, ища русскоязычные эквиваленты и для своих собственных текстов, и для текстов матери (на испаноязычные и португалоязычные темы), и для запросов своего отчима (тот ставил задачи применительно к немецкому, занудно, медленно, обстоятельно). Не выходя из рамок полущутливого семейного трепа, Козлов, бывало, на целые дни растворялся в комментаторских, в переводческих головоломках, невзначай «заброшенных» в его голову за обедом.

Когда писал, он был хуже любого Флобера. Густо замазанные рукописные страницы становились совершенно черными. Не знаю, как мне удавалось в результате их все же осмысленно перепечатывать. Он тогда употреблял авторучки с чернильным насосом. Тонкие волосяные линии, нажимы... Первые поправки были очень красивые. Но, постепенно входя в раж, Козлов превращал лист в типичное черное месиво, где уже не разглядеть было никакой каллиграфии.

До изнеможения изводясь над стилем, он просчитывал у себя и других все возможные случайные *misreadings*. Он вылавливал банальные обороты. Он душил все, что хоть в дальнем приближении могло быть принято за жеманство. Удалял любую ненужную цитату, любой лихой каламбур. Его стиль был прямой противоположностью маньеристскому «стилю пьяного филолога», вошедшему в моду и вышедшему из моды в девяностые годы. Тому стилю, который отождествляется с Максимом Соколовым. Этот деятель входил, кстати, в наше общение, и Козлов порой соревновался с ним в остро словии. Видимо, тогда у Максима (превратившегося потом в совершенно неприличное создание) и вырабатывался его запоминающийся сказовый стиль. Об этом можно прочитать в эссе нашего друга, видного члена компании, памятливого и остроумного Олега Проскурина⁴.

Подобные эрудиты и невротики, каким был Козлов, обычно бывают идеальными редакторами, из тех, кто не остановится ни из-за какой усталости и вгрызется во все (беда лишь тому, кто ждет материала в печать). В 1996—2002 годах Козлов был редактором отдела теории журнала «Новое литературное обозрение», одним из гарантов качества. Сдавал ли он номера в срок — нужно послушать тех, кто с ним сотрудничал тогда.

Такой мастер стиля, однако, обычно не идеален как переводчик: не соглашается на компромиссы и пишет с такими мучениями, будто по битому стеклу ползет. Не раз и не два такой переводчик проскакивает мимо хорошего варианта и продолжает упорно рваться дальше — к недостижимому оптимуму, к миру.

Но уж если у него что-то выстрадано, то уж, как правило, есть на что полюбиться. Таков перевод знаменитого стихотворения Джона Донна, которое переводили до Козлова многие. Тут уж либо было — либо переводить идеально, либо не браться вообще. В Сережином переводе оно называется «Прощание, запрещающее печаль» (именно так, с чудесным повторенным ассонансом «п/щ — ч/а»). С Сережиного разрешения я в 1994 году поместила этот перевод внутри своего перевода романа Умберто Эко «Остров Накануне».

4 *Проскурин О.* Максим Соколов: генезис и функции «забавного слога» // Новое литературное обозрение. 2000. № 41. С. 296—304; *Козлов С.* Заметки о стиле Максима Соколова. На полях статьи О. Проскурина // Там же. С. 305—313.

Как праведники, отходя,
Неслышно шепчутся с душой,
Друзей в сомнение вводя:
«Уже не дышит». — «Нет, живой».

Так распадемся мы сейчас
Без бури вздохов, ливня слез;
Спасем от нечестивых глаз
То, что изведать довелось.

Сдвиг почвы — бедствия пример:
Он порождает страх и крик;
Но тихий сдвиг небесных сфер
Всегда невинен, хоть велик.

Любовь земная оттого
Разлук не терпит, что они
Разъединяют вещество,
Составившее суть любви.

Но мы, кто чувством утончен
До несказуемых границ,
Легко снесем такой урон,
Как расставанье тел и лиц.

Ведь наши две души — одна;
Ей страх разъятия незнаком;
Уйду — растянется она,
Как золото под молотком.

А если две — то две их так,
Как две у циркуля ноги:
Вращенье той, что в центре — знак
Единства с той, что вьет круги.

Центральная, наклонена,
Следит за странствием другой
И выпрямляется она,
Лишь если та пришла домой.

Мы как они: ведь ты тверда,
И путь мой станет образцом
Окружности: у нас всегда
Начало совпадет с концом⁵.

Когда мы, наше поколение, начинали публиковаться, никакого интернета, естественно, не было. Энциклопедий тоже не было в доступе. Те, что были, бывали из идейных причин закрыты под замок. Я помню, итальянская «Треккани» стояла в «Иностранке» в спецхране. С «Брокгаузом» было легче — он был

5 Для сравнения еще другие шесть переводов можно найти по этой гиперссылке: <https://fantlab.ru/work543013>.

у многих в домах. «Брокгаузы» часто покупались у отъезжантов за сумасшедшие суммы, которых им хватало и на подъемные, и на билеты. У нас тоже стояли «Брокгаузы», даже два: один в доме Сергея, один в моей квартире у бабушки. Было бы три, но ленинградская ветвь моего семейства в блокаду сварила и съела переплеты, а бумагу пустила на растопку. В Милане у меня 86 полутомов «Брокгауза» занимают нижние полки в коридоре. Избавиться от них жалко. Но за последние двадцать лет я не открыла ни один из полутомов ни разу.

У нас были разные другие словари и справочники — случайные, задорого купленные из вторых рук. Мы постоянно умоляли иностранных знакомых нам что-нибудь очередное справочное привезти или прислать. Мы всегда знали, у кого из знакомых есть какой именно справочник и на каком языке. Если нужна была цитата, путь был только к прямым источникам — иди в библиотеку, сиди листай всю книгу! Но нужно было знать, какую книгу листать.

Поэтому огромное значение имела личная память каждого из нас. Сведения о прямых источниках содержались как раз в этих памятях. Это и была наша экспертность. Лучшей из памятей была, как знают многие коллеги, Сережина.

Были моменты жизни, когда его стилизаторское дарование вкупе с эрудицией и памятью приносили ему ту зрелищную славу, о которой он мечтал и которая одна была для него синонимом счастья. Это было при переводе иностранных фильмов. Зарубежное кино показывали тогда, разумеется, лишь в некоторых кинозалах и только в некоторые моменты, в основном на кинофестивалях. Тут-то и приобретал невероятное значение человек с микрофоном, который, иногда видя фильм впервые, был способен импровизировать озвучку на русский язык прямо по ходу дела.

В исполнении некоторых асов дубляж превращался в яркую, опасную, блестящую работу. Козлов по праву входил в число этих московских асов. Он демонстрировал словесные сальто-мортале на той же скорости, с которой крутится в аппарате пленка, он умел вернуть в речь и библейскую цитату, и строки Данте, или Корнеля, или Шекспира... Так, чтобы цитатный подтекст осознавал, ликуя, зал!

Шуточные его тексты, конечно, были из того же теста. Из плотной смеси цитат. Квалифицированному наблюдателю это видно. Многие восхищались, до чего умело Козлов доводил, скажем, шлягерную риторику до кабацкого надрыва. Кстати, он прекрасно знал и советскую эстраду, и «бардовское» творчество и уморительно обыгрывал все это.

Вот еще один текст из тех, что я помню. Это пародия на унылые штампы, актуальные для 1987 года. Тогда люди стали получать горбачевские зарубежные паспорта (с обязанностью сдать потом обратно), и мы стали стремительно отбывать с социалистической родины в разные страны Европы, Ближнего Востока и Нового Света. Поначалу можно было уезжать в основном «по браку», но скоро мы стали уезжать уже «по контракту».

Какая ночь, какая роскошь. В окошках дач погасли свечи.
машины дремлют на лужайках. Какая ночь, какая тишь.
Какая тьма, какая горечь... Дымок от «Шипки» на крылечке,
а на далеких полустанках гремит экспресс «Москва — Париж».

Москва — Париж, Москва — Париж, куда ж ты мчишь?
Под колесо, под колесо легли года.
И никого не возвратишь, и ничего не возвратишь,
и нет дороги больше никуда.

Ну чем тебе не подходила моя московская зарплата,
и наша дача в Подмосковье, и чистопрудный старый двор?
О, как давно все это было. И ты забыла, что когда-то
ты подписала чьей-то кровью свой новый брачный договор...

Москва — Париж, Москва — Париж и т.д.

Пошлейший романс с какими-то свечками в окошках, лужайками, и кровью, и специально поставленными, чтоб было смешнее, бледно-немоощными рифмами на глаголах и «никогда — года». Это тонкая стилизация. Подмосковье, чистопрудный двор — все эти штампы к биографии Козлова не имеют отношения.

А в то же время было у Козлова и произведение сугубо биографическое. Оно связано с конкретными личностями, и без комментария вообще понять его невозможно. Вера Мильчина родила 21 мая 1980 года мальчика Костю, будущего литературного критика. Вера Белоусова родила в том же роддоме 19 мая того же года свою дочь, ныне многим известную журналистку Анну Немзер. Все стали всем звонить, поздравляли и ту и другую семью, и, поскольку они обе Веры и роддом один и тот же, иногда люди запутывались. Вот и Берман запутался, кто у кого родился. Козлов увидел в этом удачный зачин и пошел слагать стих. Но этот незамысловатый анекдот довольно быстро и исчерпал бы себя, если бы не тонкая игра на стиле. Андрей Зорин и Александр Строев были в некоторой степени антиподами в стиле общения. Первый говорил раздумчиво и употреблял длинные слова, с пристрастием к наречиям, оканчивавшимся дактилически, что в кружковой лирике обыгрывалось и прежде. Второй, наоборот, выпаливал все сразу и любил в ораторстве звучность: «Ежу понятно!» или «Все очень просто!».

Я сидел, не зная горя, вдруг звонит мне Берман Боря и, канонам светским вторя,
произносит: «Как дела?»

Я ответил моментально, что дела идут нормально и во многом оптимально, так
как Вера родила,

Так как Вера, поднатужась, дочку в свет произвела,
Дочку Вера родила.

Тот в ответ: «Я в курсе дела. Эта новость облетела всю страну и долетела до
последнего села —

Только ты, спеша сверх меры, спутал пол ребенка Веры, а на деле — кавалера
наша Вера родила.

Как врачи установили, Вера сына родила,
Это сын — и все дела».

По натуре я покорен, я совсем не то, что Зорин, но, ответ услышав Борин, закусил
я удила.

«Ну уж нет, — я вскрикнул, — дудки! Я пока в своем рассудке! Что за пошленькие
шутки? Вера дочку родила!

В понедельник на проспекте Мира Вера родила
Девочку — и все дела!»

Закричал Борис: «Скотина! Говорю тебе, что сына, что младенца Константина Вера
в свет произвела!

В необдуманном ответе ты напутал все на свете, потому что только в среду наша
Вера родила!

В среду на проспекте Мира наша Вера родила
Мальчика — и все дела!»

Я спросил: «Но как же в среду?» Но пришлось прервать беседу, так как время шло
к обеду, и, присевши у стола,
я взмолился: «Боже, Боже, укажи мне, кто же, кто же может знать, на что похоже то,
что Вера родила?»

Кто точнее всех и строже ставит во главу угла
Истину — и все дела?

И, старания устроив, я внезапно понял: Строев! Все дела свои устроив, полетел я,
как стрела,
Чтобы в самой точной мере истину узнать о Вере, потому что в этой сфере
кривотолкам нет числа,
Но в любой возможной сфере Строев знает, чья взяла,
Знает, как вести дела.

Он доходчиво и внятно мне сказал: «Ежу понятно: до пределов необъятных хитрость
Бермана дошла.
Он берет тебя на пушку, уверяя, что лягушку, что неведому зверушку Вера будто родила!
Мы-то знаем, что за зверя наша Вера родила:
Это дочь — и все дела!

Не дадим же изверу мы развеять нашу веру в то, что доблестная Вера, хоть старалась
как могла,
Все же в ветреную ночь родила, как видно, дочку, и на этом ставим точку: родила —
и все дела».

И сказавши это, Строев, непреклонный как скала,
Был таков — и все дела.

Ах, я вновь припоминаю, как в двадцатых числах мая, внутренне себя пиная,
слабоумного козла,
Я из глубины паденья возопил тогда о мщеньи к Зорину, поскольку Зорин — это наш
аятолла.
«Из-за Бермана, — сказал я, — вся Москва с ума сошла —
Он трепач, и все дела!»

Отвечал мне тихо Зорин: «Этот образ иллюзорен! И беда, что образ Борин предстает
как сила зла.
Я скажу тебе, Сережа, что на Борю непохоже проявить себя негоже, если Вера родила.
Если Вера в самом деле хоть кого-то родила,
Это сын — и все дела».

И теперь мятусь во тьме я, мучаясь и безумея, прежнее существование сожжено
дотла, дотла,
Минул май, настало лето, но не принесло ответа, и не стоит ждать ответа, проклят я —
и все дела.

Никогда я не узнаю, что же Вера родила,
Никогда — и все дела.

Речевые портреты героев указывают не только на их манеру общения в дружеском быту, но и на стиль их научных писаний, что видно, скажем, на образе Андрея Зорина с его априори сверхкорректным подходом: «Если только в самом деле...» В этой литературной шутке я читаю следы Сережиных внимательных мыслей, заинтересованного отношения к коллегам, к их голосам, к их предпочтениям. Это ведь были не просто друзья, это были члены мысленного ареопага, к суду которых адресовался любой из нас, когда что-то писал и сочинял. В воображении мы заранее видели свой текст в руках прославленных, авторитетных *Fachleute*, знаменитых в нашей и в смежных специализациях — таких, как те же Зорин или Немзер, как Р. Тименчик, А. Долинин, А. Осповат, Г. Левинтон, не говоря уж о старых «зубрах» — Мелетинском, Гуревиче, Лотмане, Гаспарове, Аверинцеве... и о десятках других тартуских, ленинградских, московских людей, периодически собиравшихся и в столицах, и на кампусах в Балтии — в Резекне, в Кялярику. Самым важным читателем и собеседником для Сережи был Михаил Ямпольский, близкий его друг («*mon semblable, mon frère*»), один из немногих общавшихся с ним в самый последний период.

Вот, я задокументировала применительно к Сергею Козлову начало той дороги, о которой говорил Бергсон в «*Evolution créatrice*»: «*La route que nous parcourons dans le temps est joinchée des débris de tout ce que nous commençons d'être, de tout ce que nous aurions pu devenir*»⁶. Схематизируя этот путь, я, как делали в Средние века, поместила фокус схождения перспектив в начале. Не там, откуда глядят сегодняшние наблюдатели.

Вероятно, Сергей Козлов не преминул бы, как бывало, поперечеркивать все это ручкой. Может, он переделал бы мой текст в комикс в стиле «Маскированного огурца» («*Le concombre masqué*»), бегущего куда-то по нарисованной дороге. Я бы пририсовала (тоже как обычно тогда) детали на обочинах дороги. *Débris*, о которых говорит Бергсон.

Это те блестящие стороны его личности, которые его выделяли в юности. Но потом, наверное, стало уже мало кому потребным его умение держать в памяти массу данных и скоропалительно их цитировать. И наверное, не стоило ему так абсолютизировать в себе те академические принципы, которые были формальными и неформальными законами для среды родителей и тогдашней нашей среды.

Да и кружковая словесность, конечно, брошена на ту же обочину. Кружка больше нет.

Вряд ли кто-то помнит замечательную Сережину каллиграфию. Мы сегодня вообще не знаем, какой у кого из наших знакомых почерк. Можно сказать, даже свой почерк мы не знаем — редко его видим.

Неуместен в эпоху социальных сетей и присущий нам тогда ригоризм в отборе знакомых, в ограничении конфиденций... Может, Козлов вовремя отошел от всего и распрощался со всем, чтобы не видеть то, на что вообще не хочется смотреть.

Я сосредоточилась на том, что происходило в начале его дороги. Остальному я не свидетель. Знаю только, что результаты, как свидетельствуют коллеги, оказались пусть и не слишком многочисленными, но великолепными. Насколько они являют собой отсвет того далекого блеска, о котором жалею я, — я не могу судить.

6 «Путь, проходимый нами во времени, усеян обломками всего, чем мы начинали быть, чем мы могли бы стать» (Бергсон А. Творческая эволюция / Пер. с фр. В. Флеровой; вступ. статья И. Блауберг. М.: ТЕРРА — Книжный клуб; Канон-пресс-Ц, 2001. С. 120).